

## У ног лежачих женщин

**Автор:**

[Галина Щербакова](#)

У ног лежачих женщин

Галина Николаевна Щербакова

Почему-то принято считать, что донжуанство – удел одних лишь мужчин. Соблазнять и добиваться, добиваясь – остывать и слышать, как внутри роет свой ход червь пресыщения. Уходить, разрушать чужую жизнь и ни за что не нести ответственности, потому что любовь не знает ни законов, ни морали. Донжуаны Галины Щербаковой – женщины. Это они охотятся за мужчинами, выходят «пасть на луга», убегая от раз и навсегда распisanного порядка жизни. Тем более – в России, тем более – в пору ранней перестройки. Это они разменивают квартиры и опрокидывают с ног на голову представление о первенстве молодости в амурных делах. Но что стоит за этой «свободой»? Изнасилование в подростковом возрасте, ущерб коммунального житья с больными стариками-родителями, которых не возьмет ни одна больница, невозможность победить Систему, которая даже сына-инвалида готова послать в армию... Свобода оборачивается местью за несчастливое прошлое, но прошлое нельзя изменить. И цена покоя – только прощение...

Галина Щербакова

У ног лежачих женщин

И только когда небо становилось линияло-серым, и на нем появлялись конопушки звезд, и Коновалиха спускала на длинную цепь Джульбарса, чтоб он мог добежать до забора и, став на задние лапы, радостно гавкнуть миру о ночном послаблении собачьей жизни, а люди беззлобно отвечали ему: «Чтоб ты сдох, Джульбарс! Как вечер, так нет от тебя покоя. Коновалиха сама дура из дур, и

собака у нее такая же».

...так вот, когда это все случилось, – они выходили.

Конечно, справедлив вопрос, выходили бы они, не случись на небе звезд... Или, наоборот, случись у Коновалихи расстройство желудка и ей было бы не до свободы Джульбарса. Так вот – вышли бы они в этом случае или нет?

Должен был сложиться пасьянс из неба, собаки и Коновалихи... Без этого – нет.

Не вышли бы... А там – кто его знает...

Но так как историю надо начать, начнем ее с момента сложившегося пасьянса. Конопухи звезд слабенько мигают, и Джульбарс стоит на задних лапах. Народ желает ему сдохнуть по совершенно нормальному свойству народа желать собакам именно этого. Такой народ – другого не завезли.

Значит, все по местам и занавес истории подымается.

Они выходят и останавливаются точно там, где им пометил режиссер их жизни, – посередке улицы.

Сорока, Панин и Шпрехт.

Трое, скажем, негеройского возраста. Случись война – уже не взяли бы...

Одышливый Сорока никогда не снимает фартук. Он у него от мадам Сороки, а она женщина крупная. С Зыкину, но на голову выше. Потому фартук у Сороки кончается там же, где кончаются и штаны, которые у Сороки короткие и старые, а кто это дома носит новые и длинные? На голове у Сороки шляпа, потому что есть понятие – выходить на улицу в головном уборе. Сорока вообще человек строгих понятий. Первым делом он спрашивает:

– Ты, Панин, конечно, мое поручение не выполнил. У тебя с ответственностью слабо. Тебе говори – не говори...

Панин худой и абсолютно черный лицом, одеждой, глазами и, надо сказать, и мыслями тоже. Это давно ни для кого не секрет, чернота его мыслей.

Интересно, как на черном лице проступает краснота. Впечатление, что Панин загорается изнутри.

- Что еще вам от меня надо? – спрашивает он пронзительным голосом навсегда обиженного человека.

- Я про звезду тебя просил узнать, – говорит Сорока. – Бачишь? Она против всех ярче. Кто она?

- Сто раз говорил – Вега, – кричит пронзительно Панин. – Сто раз!

- Что ты мне лопочешь – роли не имеет. Ты мне обещал показать книжку.

- Где я ее вам возьму?

- Сходи в библиотеку, – спокойно отвечает Сорока. – Ты в ней записан.

- Запишитесь и вы, – возмущается Панин.

- Все брошу и побегу...

- Ну вот и я вам так же отвечу.

Шпрехт переминается с ноги на ногу. На нем драные спортивные штаны, сквозь которые видны волосатые синие ноги, всунутые в розовые с помпонами женские тапочки. Нежность их цвета оттеняет грязь ног, особенно въевшуюся над пятками. Тема грязных ног Шпрехта – это тоже предмет разговора, как и звезда на небе. Никогда не знаешь, какую начнет спикер Сорока. Он всегда успевает со словом раньше других, у него большой стаж по произнесению слов. На этот раз виноват Панин, и ноги Шпрехта утихомириваются в топтании на месте. Далась они Сороке, можно подумать, у самого чище. Вот руки у Шпрехта точно чище, он их всегда протирает «Тройным» одеколоном – и дезинфекция, и лечение суставов. «Тройной» замечательно помогает. Ни водка, ни «Шипр» не идут в сравнение. У Шпрехта два ящика «Тройного». Этого не знает никто, он нес его

по улице под видом глицерина. А то бы уже не спастись. Силу «Тройного» народ знает. И для втирания в кость, и от простуды на грудь смоченная тряпочка, ну, и, конечно, для дезинфекции. Это в их случаях дело наипервейшее.

– Плохо играл «Спартак», – говорит успокоившийся звездным поворотом разговора Шпрехт. – Без настроения, не то что раньше.

– Все разваливается, – отвечает Сорока. – Купил хлеб, а он внутри сырой, прямо мокрый. Я случай помню. После войны один раз неудачный хлеб испекли, так зава хлебозаводом на другой же день посадили.

– Это ваши методы, – говорит Панин, – а сорок лет прошло, и что? Хлеб так и пекут сырой.

– У футболистов нет материальной заинтересованности... – идет своим путем Шпрехт.

– Это у них-то? – кричит Сорока. – Когда на всем готовом?

– Тоже ваши методы – все готовое. А мне не надо ваше готовое! – Панин уже совсем зачернобагрел. – Мне оплати как следует мой труд.

– После войны шахтерам платили будь здоров, – вздыхает Шпрехт. – Ценили. А потом все выкинштейн. Сравняли с наземными работами.

– Правильно сравнивали, – говорит Сорока. – Вы заелись. Как короли тогда жили. А что, другие вас хуже? Тот же наземник Панин.

– Так не Панину же шахтерские деньги отдали, а вашему брату. Чинодралу райкомовскому.

– А вы без нас – пыль. Были, есть и будете. Временная буза кончится, и станете по линеечке. Как миленькие.

– Мы уже не встанем. Мы пар отработанный. Наше дело судна выносить. – Шпрехт снял розовую тапку и вытряс из нее камушек. Грязную ногу при этом поставил на землю. Кривые пальцы мяли ее и получали от этого удовольствие.

Что он мучается этими помпонами? Снял и вторую тапку, радостно погружаясь в жирную пыль.

- Так потом и ляжешь в кровать? - спросил Сорока.

- Помою, - успокаиваясь соками земли, ответил Шпрехт. - У меня от стирки вода в тазу осталась, мыльная, хорошая.

- Целую машину сегодня перекрутил, - вздохнул Панин. - Валик стал барахлить. Заедает материю. Приходится раскручивать назад.

- Вы ленивые, - говорит Сорока. - Я этих машин не признаю. Никакой буль-буль ничего не сделает, пока на доске не потрешь руками, как следует. И обязательное кипячение. Обязательное!

- Вы, Сорока, здоровый человек, потому что не выработались, разве нас можно сравнивать? Шпрехт всю жизнь на подземных работах, я на поверхности, вы один среди нас ля-ля...

- Захотел бы, вас бы давно не было, - беззлобно отвечает Сорока. - Мы вам рисовали линию, направление... Нормально ж жили!

- Спортсмены первые стали бежать, - сказал Шпрехт. - Потому что увидели, как люди живут, где Сороки не рисуют линии.

- Вот именно! - закричал Панин. - Это вам из горной выработки голос. Не с поверхности!

- У тебя детский крем есть? - поверх темы обратился Сорока к Шпрехту. - Ты запасливый.

- А что, у вас нет?

- Не скажу нет, но к тому идет. Махнемся на персоль?

- Я махнусь, - встрял Панин.

– Махайтесь, – сразу успокоился Шпрехт. У него было сто с лишним тюбиков детского крема. Была и персоль в подобном же количестве. У Шпрехта было все, но он не любил меняться и не любил, когда у него просили. Чего это ради отдавать или меняться? Недавно закопал в огороде три килограмма старых дрожжей. Тесто от них не просто не поднималось, оно кисло растекалось по столу, и его нельзя было собрать ни в какую форму. И то сказать? Сколько им было лет? Лет пятнадцать, не меньше. Из Москвы привез, из Елисеевского магазина, вернее, с его крыльца. Выбросили тогда к празднику, ну он и покрутился, раз пять подходил к мороженщице. Той женщине, видимо, дали заработать.

После этого он, конечно, подкупал свежие, а эти, елисеевские, пришла пора зарыть. Иногда надо открывать обе створки буфета, там у стеночки можно многое найти, чтоб закопать. Но он это не любит. Это уже крайний случай, когда начинает вонять или покрывается мохом. Шпрехт даже не заметил, что, отдавшись мыслям, остался один, что в одиночестве стоит и мнет землю. А они тут же и появились с вытянутыми вперед руками. У Панина тюбик крема, у Сороки пачечка персоли.

Вырвали друг у друга.

– Ему сто лет, – сказал Сорока, тиская тюбик, – твоему крему.

– А у вас не персоль, а камень, – ответил Панин. – Неизвестно, есть ли в ней сила?

– Сын письмо прислал, – сказал Шпрехт. – Отдыхать едут в Прибалтику.

– Это опасно, – отвечает Сорока. – Там все и начнется, если не выпрямят линию. У них давно голова на Америку повернута.

– Бог их благослови, – говорит Панин.

– Вы не правы, – вмешивается Шпрехт, – мы им всего настроили, а теперь отдай?

– А их спросили? Их спросили? – как всегда, кричит Панин.

– Тоже мне! – смеется Сорока. – Этих спроси, потом чукчей, потом... как их... басмачей, до евреев дойдем... И всех будем спрашивать. Не хотите ли, мы вам построим завод или стадион?

– Каждый народ имеет свой собственный кусок земли. Ему его дал Бог, – не унимается Панин. – Пусть сам и строит.

– У евреев земли нету, оттяпали у арабов с нашей помощью, – смеется Шпрехт.

– Ты тут Бога приплел, – строго сказал Сорока Панину, – вот это самое плохое, что ты мне мог сказать. Ты меня, Паня, напрасно хочешь унижить. Я, Паня, не унижусь, потому что авторитета Бога у меня нет. Вернее, я сказал неправильно. Формулирую точно: не авторитета нет, а Бога нет. И ничего он никому не дал. Землю человек отвоевал у птеродактилей и мамонтов. Потом побился друг с другом и уже тогда укоренился окончательно.

– Значит, вы признаете, пусть без Бога, закрепление за народом определенной земли? Зачем же мы захватили их Прибалтику?

– А передел земли никогда не кончается. Это движущая сила истории, Паня, борьба за территории. Во всем мире так...

– Что – да, то – да, – вздыхает Шпрехт. – Я думаю, придет время и немцы пойдут опять. Они ж в хороших условиях размножаются, им каждому по комнате дай и еще место для машины. А сколько там этой ФРГ? Они захватят демократов, а Польша сама им ворота отчинит. И все пойдет по новой. Яволь, геноссе!

– Ты-то будешь рад, – сказал Сорока. – Ты их язык не забываешь...

– Я способный к языкам, – смеется Шпрехт. – Когда колхозы создавали в Марийской автономной, я быстро стал понимать. И в Грузии когда жил. А немецкий легкий... Машиненгеверен... Это пулемет... Ди зонненшайн... Это значит солнце... Фатер... ж Мутер... Ложится на язык...

– На поганый твой язык, – отвечает Сорока. – А мне вот гордо лялякать по-ихнему.

– Вы, Сорока, не были в оккупации, – кричит Панин, – вы, Сорока, драпанули за Урал...

– А ты что, на передовой был? – Сорока не обижается. – Ну драпанул... – Он объяснял им в свое время: нету у меня храбрости, такая моя природа. Но в тылу я работал по двадцать часов. Конечно, можно это повторить, но Сороке неохота. Ему вообще неохота спорить, ругаться. Он за свою жизнь столько этого имел! А эти беспартийные Панин и Шпрехт от слов не освободились, они в них еще пенятся, шипят. Конечно, и время пришло, что у всех языки развязались. Можно позвонить Миняеву в органы, он хоть там и никто, но напугать этих старых пердунов может. У всех ведь дети... Намекнуть, что может прекратиться их рост по службе, если отец язык мылом не вымоет. Надо, надо будет подговорить Миняева. Поставить ему стакан самогона и устроить тут цирки и баню.

– Про Миняева слышали? – спросил Шпрехт. Сорока чуть не подпрыгнул, это же надо! Он ведь сейчас думал именно про него!

– А что? – спросил Сорока. – Я ж сегодня никуда не выходил.

– Умер, – ответил Шпрехт. – Встал утром на ноги, за штанами потянулся и шпрехен зи дойч.

– Воздержусь от комментариев, – сказал Панин.

Сорока же был как бы в ступоре. В голове его столкнулись и не могли разойтись мысли. О встрече с Миняевым на случай пугнуть этих трепачей Панина и Шпрехта, хорошая рисовалась встреча, веселая, с самогоном и идеей, и это все напоролось на падающего замертво Миняева, которому судьба даже времени на одевание штанов не оставила. Это нехорошо, размышлял Сорока, одновременно продолжая прокручивать в голове живую мысль, как они сядут за стол с Миняевым и придумают эту хохму с пуганием. Хорошая хохма могла получиться, все в ней где надо лежало, а Миняев, получается, спрыгнул. Сачканул раньше времени.

– Вы так не переживайте, – сочувственно сказал Шпрехт. – Оно ведь... Смерть хорошая... На подъеме... На вставании. Форвертц...

– Подвел меня Миняев, подвел, – сказал наконец Сорока. – У меня с ним дело было...

– Лучше ничего не задумывать, – ответил Панин. – Жить одним днем.

– Так и дня ж может не быть! – вдруг заплакал Сорока. – Еще штаны были не надеты, а день возьми и кончись...

Он косолапо, старомо уходя от них, путаясь в длинном фартуке, закрыл за собой калитку и снял шляпу.

– Пойду и я, – вздохнул Панин. – Почитаю... газеты.

Шпрехт еще постоял посреди улицы. Голым ногам было хорошо на земле, он чувствовал, как пульсирует кровь в мякоти пальцев. «Капиллярная система в порядке, – думал он. – Застойных явлений нет».

Он уходил медленно, размахивая руками с розовыми тапками.

Почему-то ему стало спокойно. Конечно, если разобраться, то Миняев этому поспособствовал. Пережить человека из органов – вещь приятная, что там говорить. Это рулетка жизни. И хоть Миняев особо ничего плохого ему не сделал, ну беседовал пару раз на тему интереса к немецкому языку, но лицо не ломал.

– Ты, Шпеков, имеешь хорошее русское фамилие. Из бедняков, рабфаковец. Откуда в тебе эта фашизма?

– Я человек, способный к языкам, – как всегда отвечал Шпрехт. – Я раскулачивание в Марийской автономной области проводил на их языке.

– Такого языка нету, – говорил Миняев. – Что это за язык – марийский? Скажи еще ивановский... Распространяешь невежество...

Конец ознакомительного фрагмента.

----

Купити: <https://tellnovel.com/galina-scherbakova/u-nog-lezhachih-zhenshin>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)